

Раковина

Автор:

Петр Драгунов

Раковина

Петр Петрович Драгунов

Булгаковщина – так, как я ее понимаю, вижу, чувствую. Только скорби и виноватости меньше. Пусть уж смеются...Содержит нецензурную брань.

ПРОЛОГ

У вас не было среди друзей очкарика? Того самого, который хорошо учится и думает, что ему известны ответы на все вопросы. Ну да ладно, по крайней мере, у которого на все есть собственное, четко сформулированное мнение. Не было? А я им был и оставался другом Дана (не смотря на мою занудность в некотором отношении).

Зато у вас один мир, а у меня целых два. Тот второй вам совершенно не знаком и почти не доступен. А мне нужно, лишь снять очки. Это странный и загадочно – притягательный мир, уверяю вас. В нем потеряна определенность, в нем всегда чего-то недостает.

Он приходит незвано, когда идет дождь. Он таится за каждым омытым водой стеклом. Там волшебные источники света в радужной оболочке. Там любой предмет, как бы немного растворен в пространстве.

Чуть размытыми границами, он охватывает еще не принадлежащее ему, и тут же делится с остальными своим самым лакомым кусочком. И как местные жители не наступают друг другу на пятки? Не перестаю удивляться.

Я был еще очень маленьким, когда понял, что человеческий мир такой же, только совсем чуть-чуть. Наш учитель физики говорит, что мы не замечаем этого, и только самые точные приборы могут уловить сей эффект. Откуда он знает, чего я могу видеть, а чего нет?

Наш мир делится на крошечные, живые клеточки, но мы, к сожалению, не знаем, где между ними промежутки. Говорят, что в этих промежутках можно обнаружить целую вселенную, правда на очень короткий момент времени. Но муравьи ведь живут быстрее нас. А что если им чего-нибудь заметно?

Скорость распространения волны зависит в основном от среды, в которой она бежит. Энергия – суть не только масса, но и количество колебаний в секунду. В вакууме луч света движется с максимально возможной скоростью. Труднее прочего понять, что резонанс и эхо одно и тоже явление...

Но пространство состоит из маленьких кубиков. Получается, для того чтобы перемещаться по их границам, необходимо вычислить формулу резонанса вакуума.

Я узнал, что еще древние, всю пользовались резонансом, дабы переносить свой голос на далекие расстояния. Индейцы Инка строили каналы звука в культовых пирамидах, для поддержания духа магии у неверующих окружающих. В их книгах я и нашел эпос о Волшебной Раковине. Может именно с этого, все и началось.

Головоногие в докембрийские периоды

Предания о Желтой Раковине уходят в самую толщу истории той стороны. Как никто не скажет, что было наперед курица или яйцо, так никто не знает, что появилось прежде Раковина или Та Сторона. Скорее всего, обе вещи практически неразделимы. Я думаю, что они и развивались вместе, подгоняя друг друга самыми необычайными способами.

Первая глава этой захватывающей истории, сообщает о славном житии моллюска по имени Монос. Собственно имени у него отродясь не имелось. Имя, оно для разговора нужно или окликнуть товарища надо, а под водой ничего такого не случилось. Но в тот момент, когда очень мудрый кто-то придумал, как запечатлеть для других Великое Предание (не используя сложные приемы зарисовки), имя Монос фигурировало с полной определенностью.

Ни Монос, ни его собратья плодоносные не подозревали, что ровно через два миллиарда лет, они будут определены как моллюски бесхребетные. А у наших доблестных ученых разным бесхребетным заранее отказано в малейшем намеке на индивидуальность и осознание.

Впрочем, нет в этом ничего удивительного. Ведь в принадлежности к разуму, человечество отказало всем, кроме себя. Высшая степень справедливости. Двигаться по жизни с такой изощренной глупостью как наша, никто, никогда не сможет.

Тем не менее, извилин мозга (самого дурацкого критерия развитости) у моллюсков имелось гораздо больше, чем у любого кандидата и даже доктора средних наук. Моллюски собственно, целиком из одного мозга и состояли, что и предопределило мощнейшее развитие их сенсорной способности.

Размножались представители голово-телого вида спорадически, используя течения, приливы и отливы. Почти всю сознательную жизнь моллюски проводили на месте рождения, передвигаясь только при очень чрезвычайных обстоятельствах. Как-то так получилось, что в докембрийские периоды все необходимое для жизни и пропитания оказывалось под рукой. Но попадались и вопиющие исключения.

Вот к примеру, бродяга – Монос. Вроде нормальный с виду моллюск, головоногий опять же. Но с самой ранней юности втемяшилась в него крамольная идея путешествий. На ней собственно Монос и погорел. Если такое в воде возможно. Отвернулись от него все, включая наиболее близких родственников. И спровадили в места отдаленные, только знали бы как!

Нет, непосредственно до душевных лечебниц подводные жители в социальном развитии не добрались. Не существовало у них индивидуумов в белых халатах с недоверчивыми, вечно жующими вас глазами.

Но имелось еще моллюсковое Общественное Мнение. И в дебрях столь запутанного мнения, Монос оставался не таким как все, без ценза оседлости что ли, побегушкой какой разгильдяйской. Из тех, что кажется, конечностями думают. Его так бы и прозвали, если б могли – Бродяга Монос.

Ведь что может быть прекраснее родной маленькой ложбинки, бугорочка, трещинки с карликово – культурненьким садиком из диковинных и привычных взгляду растеньиц? Что вам приятнее, чем понятная, родная близость родного дома?!

Эта извечная мягкость пастельных тонов, нежность и цикличность теплых течений. И несмолкаемый Голос нашей радостной братии – гладкий фон чего-то свойского, привычно незыблемого. Голос особый имелся у моллюсков, один на всех, один над всеми общий и неделимый. Я же говорил про их немислимые экстрасенсорные способности.

Словно говорливый, респектабельный зародыш прямо в твоих мозгах. Голос и укажет, Голос и направит в нужную обществу сторону. И родились мы с ним вместе и ощутили Главного Друга, сразу же в момент рождения. Только Голос и постарше, и поопытней на неизведанное количество поколений.

Когда видишь сразу все, за всех вместе взятых, границы мира размываются, и остается только теплота взаимного прикосновения. Спокойная уверенность в каждом шаге, в настоящем, прошлом, будущем.

Частности в таком приятном и уверенном состоянии как-то теряются, и любое возмущение быстро затухает в инертной среде. Мы масса, нам принадлежит мир. И на знании одного столь сильного факта, здвигается хлипкая уверенность во всеобщей непотопляемости.

Но, вот беда, родился Монос с некоторым незаметным со стороны дефектом. Голос общества ему лишь чуть слышен, а вторить молитвам и ораториям Монос не умел совершенно. Может волна, на которой шел экстрасенсорный обмен колоний моллюсков, оказалась не его волной, или частота сдвинута набекрень что ли? Как говорится – в семье не без урода.

Нет, он конечно информировался, как обживаются другие новые долины, впадины и бугорки, как нас становится больше с каждой секундой, и что Голос

громче и плодovitее, Монос понимал. Но время от времени, острая сталь боли разрезала его напополам. Некоторая часть Голоса, неслышная нормальным оседлым, становилась моллюску непереносимой. Она прокатывалась через сознание гологоногого мутанта нескончаемым потоком ужаса и безысходности, но, к счастью, исчезала так же быстро и бесследно как и проявлялась.

Волна страха заставляла судорожно сокращаться недоразвитые конечности бедноногого моллюска. Слепая, беспорядочная оторопь движения, уносила тело прочь от дикого вопля пространства. Это было похоже на обморок, и даже на приступ эпилепсии, но болезни такой моллюски не знали отродясь. Хотя со стороны приступы такой хвори отвратительны наверняка.

Годы шли, и жизнь делала "добровольного" изгнанника Моноса все более непохожим на сидней – сородичей. Его рудиментарные отростки для прикрепления к неровностям дна, развились во вполне способные к передвижению конечности. Но хвастаться собственным уродством – удовольствие из последних. В детстве бродяга – в зрелости изгой.

Вынужденное одиночество отдаляло его от родичей и родных мест. Некоторые из его соплеменников открыто заявляли о его антиобщественных, крамольных настроениях. Монос старался не попадаться им на глаза, не участвовать в общественной Голосовой жизни.

От безделья и нежелания быть лишним изгой-моллюск предпринимал по-настоящему рискованные экспедиции, ползая по скалам, продираясь сквозь аляпово – разноцветные коралловые заросли. Он всплывал к изменчивой кромке поверхности, сжимался в комок нервов в глубоководных впадинах.

Уже через несколько лет Монос не плохо знал близлежащие окрестности и опасности, поджидающие тех, кто шарахается по их закоулкам. Конечно, он лишался великого дара общения с себе подобными. Экспедитора никто признавали и не понимали чем дальше, тем больше. Потом даже забыли и смирились с его редким сосуществованием на этой почве. Ну, урод, так урод, что с ним поделаешь? Конечности разнообразные, голова собственная. Как ему к остальным шаровидным приткнуться?

Все чаще моллюск подавлял, не слушал умиротворяющие Голоса оседлого ценза сородичей и в поступках полагался только на собственные суждения, да приобретенный в скитаниях опыт. Потеря успокоения, вызванная ежистым разрывом с альма-матер, гнала его дальше от родных мест обитания. Ему мучительно не хватало чего-то. Он и сам бы не объяснил чего, ведь моллюски размножаются спорадически.

Может желание сие, называлось инстинктом самосохранения или поиском вечной новизны или еще какой-нибудь ерундой. Да кто из нас поймет головоотелых моллюсков, тем более в докембрийские периоды?

Вода чуть уловимо изменилась. Послышалось колебание чужой жизни. Оболочка впитывала первые отголоски света нового подводного дня. Монос вытянулся всем телом образуя воронку, шевельнул мускулами и заглотил первую порцию планктона.

Пора двигать рудиментами. Еще вчера он решил обследовать небольшое ущельице, уходящее вдаль – вверх к мутной опасности полосы прибойя. Вяло перебирая конечностями, Монос направлялся к цели и одновременно переваривал первый, легенький завтрак. Уже с полчаса, он находился в наиболее блаженной стадии усвоения питательных веществ.

Впрочем сытая радость жизни, не мешала моллюску устрашающе вещать во весь его внутренний голос – "ПОБЕРЕГИСЬ". И некоторые не светом, да духом питающиеся обитатели океана (в радиусе метров, так десяти) воспринимали эти вопли откровенно болезненно.

Даже сейчас, мы иногда слушаемся внутреннего голоса и не жуем того, что грозит превратиться в летальное несварение желудка. А в те далекие времена, зубастые и пастистые, просто обходили счастливых обладателей внутренней предупреждалки одиннадцатой дорожкой.

И вдруг Монос почувствовал, что волна от его экстрасенсорного эхолота проваливается куда-то в пустоту. Не полностью конечно, а какая-то, но вполне солидная часть составляющей. Ни прямого тебе, ни вторичного резонансного отражения. Любопытствующий Монос чуточку посомневался, да опять не утерпел, и направился к необычному предмету.

Однако при ближайшем рассмотрении, объект оказался не из ряда вон выходящим. Он достаточно невелик, не обладает свойствами чего-либо жирного или съедобного. И все-таки что-то выделяло его среди прочих.

Ну, конечно же, не пустота внутри. С пещерами и кавернами Монос встречался ранее и восторга от их острых углов не поимел никакого. Да и быстро заводящиеся, не изгоняемые никакими способами паразиты, не прибавляли вместилищам особого очарования.

Симметрия, – сказали бы мы, правильная, геометрическая гармоничность и соразмерность. Так сказать круг, имеющий и начало, и конец. Спираль – особая фигура и Вселенская категория. Но Монос то, не умел болтать совершенно, а заинтересовался открытием не меньше, чем тугодум Пифагор прямоугольным треугольником.

Хитрый моллюск подобрался поближе и замер, приняв форму и цвет рядового камушка. Он давно понимал, что прежде чем пощупать, необходимо подождать. Да и спешить в то утро было некуда.

Последний лохмат ила медленно вальсируя, опустился на предназначенное ему место. Жизнь замерла. Только далеко вверху росплески Солнца смешиваясь с гребешками волн, опускали вниз длинные, болтливые щупальца-лучи и искрились усмешками наперегонки.

Черный провал звал к себе Моноса. Он скалился бездной страха в немыслимой пустоте. Он не мог быть живым, Монос знал это. Но он был жизнью, и Монос чувствовал истину каждой, отдельно взятой клеточкой сенсорного тела-мозга.

Незнакомец и притягивал и отталкивал, как все неоднозначное, как все имеющее две стороны, как все лежащее в нескольких плоскостях восприятия.

Охватываемая одним взглядом и делящаяся на тысячи неподдающихся описанию сегментов, раковина светилась жизнью, но как-то по-особому. Она оставалась только выражением большого, и не будучи одушевленной в единственности, тем не менее жила.

И тут Монос опять услышал Голос сородичей. Видно где-то рядышком, располагалась очень свеженькая незнакомая для него колония. Трубный Глас разразился необычайной мощью и ужасом, как раз той частотной составляющей, что была Моноса полной, насыщенной болью, горечью и безнадежностью.

Горячими волнами, Голос прокатился сквозь моллюска, заставил тело биться в конвульсиях. Конечности разгибались и сгибались. Они сами несли беспомощную оболочку моллюска головоного к провалу неизвестности. Так Монос и обрел Желтую Раковину или она сама обрела главного Владельца. И именно тогда он увидел свой первый сон наяву.

Пилигримы

В этом немом движении все было захватывающим. Тысячи пилигримов надвинув слепые капюшоны на самый нос, зачем-то несли горящие факела высоко над головой, огненной лавиной плыли в пустоту. Монос видел их откуда-то сверху, но захоти, мог прикоснуться любому в один миг. Во снах случается многое...

Ночь расступалась перед пилигримами, завлекая их в нескончаемую, темную бездну. Она намеренно подавалась тщедушным светлячкам. Для идущих же, факела, соединяющиеся блесками света в единую мощную реку, придавали шествию вид особой весомости и осмысленности. Чаши огня воплощались гордостью бессилия, не сознающего самое себя.

Только Пустота знала цель их мерного, неторопливого движения, и только Пустота могла охватить тонкие нити сущности его предназначения. В ней не имелось места для категорий, усталости или лжи. Она оставалась проникающе неделимой и бесконечной. А пилигримы?! Пилигримы огненной рекой разрезали темную бесконечность. Казалось, что разрезали...

Ведь само время только пыль у Пустоты на устах. Оно поддается движению, а любая слабость унижает и стирает значение дотла. Ведь только Пустоте некуда спешить, ибо нет ничего в мире, стоящего ее потерь и находок. Необъятно тело ее, всевмещающе ее существование.

И все-таки смещение крошечных огоньков на неоватном, безликом фоне. Есть в нем что-то магически завораживающее. Что-то, что касалось пальчиками желания даже темного тела бездны.

Может это дети ее, тысячами ножек колышут вселенную, заставляя вздыхать мироздание. Может это новая эра стоит у порога, меняя напропалую Мир на своем пути, плодясь волнами света и не оставляя места для собственной Матери. Да и кто его знает, что было там – в тени капюшонов?

Внутри оказалось тихо и как-то по-домашнему уютно. Проснувшийся спозаранку Монос удобно расположил свое тельце-желе домика. Потягиваясь со сна, он попытался дотянуться до самых дальних, внутренних стенок спирали, но это не удалось. Странно, ведь Раковина казалось совсем небольшой.

Но его извечный зуд конечностей прекратился совершенно, и теплая радость успокоения разлилась по головоногому телу. Так хорошо и спокойно моллюск еще не чувствовал себя никогда. Ему никуда отсюда не хотелось, и всякие непонятные сны казались нелепыми наветами ночи. Какие – такие пилигримы?! Какие – такие капюшоны в те самые докембрийские периоды?! Полнейшая чушь!

Пошерудив песочком, нанесенным волнами вовнутрь через вход Раковины, Монос собрал его в кучку и выплюнул наружу. Теперь стало уютно до безобразия, и он решил вздремнуть еще, не надолго конечно.

Уже через пару дней Монос окончательно обустроился внутри нового жилища – Раковины. В ней в действительности много необычного, но почти все оно, оставалось приятным. Вот только Голос сородичей пропадал здесь безвозвратно, и незнакомое, щемящее чувство терзало тело – мозг бедного моллюска. Я бы назвал его неразделенным одиночеством. Но где нам понять мысленный симбиоз головоногих колоний?!

Переливы их Голоса сложны и полифоничны. Они как многослойный пирог несут счастливым обладателям и пользователям и все мыслимые чувства, и всю возможную информацию. Отдельные разделы составляют житейскую хронику, и конечно достижения того, что мы называем искусством и наукой (у моллюсков это конгломерат обозначенный символом познания Мира). А многое прочее, что

очертить словами я не в состоянии?

Пустота, по крайней мере в мире головотелых, имеет склонность заполняться тем, что попадет к ней под руки снаружи. Монос например, проводил вынужденное затворничество в длительных экспедициях, размышлениях о смысле жизни и прочих занятиях, свойственных пустоте одиночества.

Впрочем из самых дальних экспедиций Монос вынес одно прелюбопытное наблюдение – в том внешнем мире, не находилось ничего более загадочного, чем его уютное жилище. Конечно, моллюск исследовал множество других раковин. Некоторые из них формой и внешним лоском, препорядочно напоминали Желтую, но внутри, внутри Желтая оставалось по особенному живой.

Со временем, Раковина стала не только неотъемлемой частью обитателя, но как-то загадочно влияла на его "я", выступая в роли катализатора необычайных идей и открытий.

И что же у нас внутри?!

В этом сне Монос падал в бесконечность. Он обрел совершенную невесомость. Его тело будто бы парило в пустоте, но оставалось абсолютно спокойным за собственную сохранность. Оно отдавалось новому, как мы отдаемся мягким, прибрежным волнам моря: беспечно, без колебаний и привычной суеты.

Тысячи голосов его собратьев, мирно щебетали на уже незнакомом моллюску языке. Монос попытался увидеть их, но вместо этого с опозданием обнаружил странную наполненность бесконечности его окружающей. Она оказалась вся, словно губка водой, затоплена игольчатым светом. Свет был настолько ярким и чистым, что у моллюска рябило в глазах. Его яркость ни с чем не сравнить. Даже полоса прибоя, где солнце проникает в океан через огромные пузырьки, и та замутнена илом, песком, водорослями. Пространство Раковины сияло невероятной чистотой. Монос впервые задумался над тем, а что же находится за полосой прибоя, там, где кончается океан.

Впереди его ожидало великое множество открытий. Моллюск еще не обнаружил, что выше, над ним, океаном и Землей в немыслимой, искрящейся пустоте обитают другие планеты и даже другие звезды. Монос не знал, что краски того высокого мира, также ярки и первозданны.

Нити – лучи внутри Раковины не оставались прямы на всем протяжении. Порой они изгибались контрастными симметричными зebraми и синусоидами, иногда даже замыкаясь в блистающие круги или танцующие спирали.

Еще большее удивление несло то, что нити одновременно воспринимались как гармонически изогнутые поверхности или Нечто, не имеющее названия, но обладающее гораздо большим количеством измерений, чем мир, который его окружает.

Порой Нечто, дугами изгибало спины и так круто стремилось в пустоту, что мир лопался и являл себя новоиспеченным мыльным пузырем, таившим во внутренностях иные дали и открытия.

Они живые, – кольнула вспышка уверенности, где-то глубоко в сознании Моноса. Но изменчивый хоровод линий, напрочь отрицал привычный нам смысл бытия. Он оставался глубоко нелинейным и алогичным. Само понятие ЦЕЛИ как желания к достижению, внутренне противоречило его настрою.

Неизведанный мир изначально совершенен и замкнут из себя, на себя. В нем отсутствует причинность и необходимость выживания. Он не принимает развития, так как не существует без гармонии с самого начала.

Этот мир ничего не требовал, а только показывал кому-то потустороннему грани и изгибы феерии энергетического потока. Мир купался в чудовищно чуждом нам восприятию, как мы купаемся в мягких, прибрежных волнах теплого моря.

И все-таки это была его Раковина. Просто она изогнулась в каком-то космически – масштабном прыжке в абстракцию. Только теперь Монос по-настоящему ощутил безразмерность своего уютного домика. Каждая пора тела Раковины при приближении, расширялось до пути, превосходящего длинной любые мыслимые пределы.

Монос почувствовал себя находящимся внутри многогранного шара, где любое направление воплощалось новой реальностью, новой жизнью, до срока ожидающей всей полноты неминуемого осуществления.

Если бы это было возможным... Горькое сожаление одиночества кольнуло душу моллюска в самую уязвимую ее часть. Если бы это оказалось возможным... Он бы забрал всех своих сородичей сюда, в этот блистающий мир и открыл им, что вселенная вовсе не карликовый садик. Он бы показал им, куда приводят мечты. Здесь хватит места любому и каждому. Пространство мечты имеет совершенно иное измерение.

Раковина принимала его неназойливо, чуточку беспечно, но с немислимым спойствием, силой и добротой. Оставалось непонятным, как столь огромное, насыщенное до краев Нечто может воспринимать и любить свою ничтожную малость? Это в ней самое удивительное. Целый океан энергии, совершенно не смущаясь ситуации, беседовал с крошечной каплей о ее мелких суетливых делах. Им было о чем поговорить!

Безмолвие

Сознание возвращалось мучительно медленно. Оно словно испытывало непосильный гнет, чего-то вязкого и обжигающе холодного. Моносу казалось, что кто-то выпивает его силу, вбирает в себя частицу за частицей животворную влагу, энергию.

Потом проявилось бледное, мутное пятно. Оно непрестанно разрасталось, заслоняло темноту сна, спасительного неведения. И вместе с ним нахлынуло одиночество горькое, жалеющее самое себя. Печать, налагающая неотвратимость скорби, как покрывало на окружающее бессилие.

Наконец, свет сфокусировался в определенную картину и Монос прозрел. Мир стал кристально чистым. Суета жизни еще не заполонила пространство. Только камни и песок составляли грани суровой, холодной реальности. Никаких следов мягкости – резкость и однозначность. Предельная чистота и определенность, без

всякой копошащейся череды и повседневной мелочности живого.

Зачатки инстинкта захватили тело моллюска в судорожные объятия, заставили сжаться в комок и забиться как можно дальше вглубь спасительного убежища. Пространство вокруг его Раковины было напрочь лишено всяких следов жизни. Со дня сонной лощины исчезли все, даже самые крошечные ее обитатели! Сами воды океана были кристально чисты и лишены привкусов и ароматов существующей в нем жизни.

Каждая грань мертвого камня, песчинки, кристалла будто приблизилась и сверкала удивительной чистотой. Казалось, что в единый миг все живое вокруг было выпито единым глотком небытия. Остался лишь холодный и чистый мир камня и мертвой воды. Казалось, что Монос, защищенный покровами Раковины, остался на этом свете один одинешенек. Слава Раковине! Только казалось.

А беда состояла в том, что моллюсков ели. И самое интересное в этом скабресном положении, оказалось то, что сами моллюски о столь досадном обстоятельстве, даже не подозревали. Впрочем, едят и нас, и всех остальных, но мы совершенно не желаем подозревать об этом. В этой глупости с тех самых докембрийских периодов не изменилось к лучшему. Уж лучше слепота, чем зрение, знание неминуемости собственного окончания.

Интересное вам скажу занятие, ни о чем не подозревать. Жил себе, к примеру, гражданин в маленьком уютном городишке, на берегу большой и быстро текущей реки. Жил человек, и ни о чем не подозревал.

И вот однажды, в абсолютно нерабочий, воскресный день, отправился гражданин покупаться на эту самую реку. И что думаете? Напился и утонул? Как же, как же, остался целехонек. Вот только гражданином числиться перестал. Нету того города. Прорвала река дамбу и унесла город в прошлое в далекие края. Унесла без суда и разумного следствия. Ни найти, ни догнать, ни дожить до него.

И все же чего из них не стало, гражданина или города? Может и не было никого города на берегу реки..., и гражданина который удумал купаться на реку... Так и реки может не было?

Сеть

Сеть воистину огромна. Ее тело – бесконечный, двумерный арабеск бахромы, истонченный пресыщенным одиночеством и усталостью. Ее рваные края теряются в пространстве слизистыми нитями, пересечениями, пустотой. Она не кажется единой, полнит осколками темные впадины и трещины, кусками цепляется за сточенные конуса подводных скал и все же осознает себя. Она только процесс, она поглотитель. Сонное, мутное марево глубин трепещет перед ней. Ведь Сеть единственная и главная в этом мире, она создает его чистоту и правильность.

Покой, покой, тогда ей хотелось одного покоя. Сеть распластывалась на самом дне, самой глубокой бездны и отдыхала от бешеного ритма, когда-то составлявшего смысл ее существования.

Но суетливые, настырные твари – мельчайшие частички грязной, мутной жизни, они не отпускали ее. Твари падали на тело сверху, будто обжигающие капельки кислотного дождя. Они превращали ее расслабленную плоть в сплошную, болезненную рану. Они рыли бесконечные ходы в ее внутренностях. Они зачинали и рождались в ней, они испражнялись в ее тело. Сеть становилась невыносимо вялой и рыхлой. Она почти переставала существовать в единстве и тогда просыпалась.

Вдруг, по бесконечно долгому телу пробегала судорога ярости. Она тянулась из конца в конец несколько дней. И только затем, после бешеной пляски боли и усталости от прошлого, ее тело покрывалась потом.

Сеть менялась на глазах. Ее волокна утончались и утончались. Они освобождались от лишнего и чужого. Они вновь становились собой. Боль побуждала к действию. Боль зачинала разум, собирала в спираль отголоски и ощущения, сплетала огненный жгут мысленного потока.

Сжатие было таково, что вода булькатила вокруг, и раскаленный пар мириадами пузырьков устремлялся вверх к поверхности. Волокна ее тела превращались в нити. Но нити эти, уступали в прочности только камню. Да и то лишь потому, что

камень не имел смысла, и не насыщал тело.

Потом начинали набухать пищеварительные комки. Сгустки нитей свернутые в рулоны образовывали ядра – поглотители. Все то, что донимало ее долгие годы, сейчас шло в ход. Оно предназначалось, как исходный материал. Сеть готовилась к настоящему поглощению. Сеть осознавала себя правой, и движение начиналось. Но медленно, неторопливо, даже изящно. Царица мира возвращалась и осматривала свои владения.

Над миром парила его тень. Боль отпускала, и Сеть плавно скользила, прогоняя себя через пространство. Тень накрывала горы и долины, рифы и впадины.

Она неспешно дрейфовала над суетливым уютom колоний и поселений моллюсков. Тень внимала их Голосу и узнавала про очередные достижения того, что головотелые обозначали символом познания Мира. Она радовалась красоте и теплоте их декоративных садов, с улыбкой слушала щебет детворы. Она спокойна и уверена в своем предназначении. Лишь аляповатая игра разноцветных бликов в толще воды, игра и ее тень – они вдвоем в целом мире.

Тень пропускала через себя тот свет, который насыщает и согревает их души. Она пропитывала собой небо, но оставалась так бледна, что казалась только отблеском, самым мимолетным ощущением, на пределе всякой чувствительности.

И опять, без видимой причины по телу пробежала легкая, быстрая судорога. Затем еще и еще. Тень превращалась в поверхность бешено бьющегося студня, сплетения из тончайших стальных нитей, зудящих в неопределенности.

Просыпались ее сила и предназначение. Движения обретали общий смысл. Нити напрягались так, что звенели сами для себя. Эта была музыка сказочной гармонии. Она звала в небеса, она открывала высший смысл и предназначение происходящего! Одной стороной Сеть приближалась к кромке поверхности океана, другая, нижняя сторона волочилась, обдирая дно. Тень обретала великую жажду жизни, и Сеть двигалась, двигалась, набирая немыслимую, всепоглощающую скорость.

В маленьком театре падал занавес. Несмотря на громкие бис и браво, актеры не спешили на сцену раскланиваться публике. Таково особое устройство нашего маленького театра. А на новое представление набирали новых актеров.

Вдумайтесь, как удобно, рационально, когда одна и та же премьера длится на протяжении тысячелетий! Даже то, что пьеса откровенно не нова, не замечается совершенно. Ведь каждый актер вносит свое, личностное, неповторимое дарование в побитый молью сюжет. Он играет один раз. Он не надоедлив. Он бесподобен. Он не требует комиссионных.

Сеть очищала все. Ее не успевали заметить, и смерть не успевали осознать. Такая смерть подобна вспышке молнии. В конце концов, каждый хочет видеть ее такой. Зачем подозревать, догадываться и ужасаться своих ожиданий?!

А моллюски по-прежнему не любили путешествовать. Кто хочет отрываться от родного дома, когда все хорошее заключается только в нем? Наша уверенность в общественной правильности и безопасности безгранична. В градациях и смысле Великого Голоса моллюсков не имелось терминологии для точных обозначений мест и количества поселений. Единственным свидетелем перемещения Сети оказывался тот самый, не слышимый остальными, предсмертный крик на предельной частоте.

Потом, со временем, почувствовав неодолимую тяжесть усвоенного, переваренного Сеть опускалась на дно. А немногие оставшиеся в живых, осваивали новые территории, отпочковывали новые колонии и создавали новые, распрекрасные сады карликового благополучия.

Но что-то сместилось в наших песочных часах. Ведь именно в тот достославный момент на галерке появился первый зритель нашего представления. Правда, к мнению галерки мы почти не прислушиваемся. Но времени, чтобы внять его голосу, похоже, остается предостаточно. Монос не знал ни одного моллюска, умершего естественной смертью. А может, костлявая смерть, еще не вооружилась печально знаменитой косой в те самые докембрийские периоды.

Мой друг Дан

Только что окончился праздник. Разом опустевшая площадь слегка подрастерялась в столь негаданно наступившей тишине. Да и не удивительно. Творится, понимаешь ли, что попало.

Сморщенные, усеянные проседью пыли и песка резиновые обрывки, по инерции и скудоумию считают себя яркими воздушными шариками. А маленькие, втоптаннные в асфальт красные тряпочки, продолжают мнить державными флагами.

Но их праздник кончился, и сновали оранжево – синие бомбовозы-жуки поливальных машин, и вода, словно грязь, уносила ушедшее. Их влекло вниз бурлящими ручейками сточной воды, которые на несколько минут, как есть попревращались в движение воли судеб.

Впрочем, кто знает – было ли маленькое маленьким, и станет ли большое большим? Кто знает... По крайней мере, не я в теперешнем положении.

А как славно нам было. Каким раскатистым, тысячеголосым эхом неслось по прямоугольным изгибам улиц троекратное ура. Дребезжали стекла, и стаи городских, пижонистых голубей веером рассыпались в иссиню – чистом небе. А они шли вперед, и смеющиеся девчонки бросали в их сторону букетики цветов. Так было, как поется в уважаемой песне, и даже не понарошку.

Да, каждому фрукту свое время и свои зубы, – праздник окончился. Скрылись в поворотах и подворотнях колонны демонстрантов, оставили за спинами площадь, усыпанную просроченными атрибутами веселья. После наполненности мир кажется безлюдным.

Я не могу не сказать о том, что именно сейчас, произошла еще одна замечательная победа нашего трудового народа. Еще один гигантский шаг в светлое, трудовое будущее коммунистического характера.

Идеологически грамотный народ ужасно радовался, и как следствие столь халявной радости, местами оказался пьян совершенно как свинья.

Т.е. весь в целом, народ попадался пьяным умеренно и понемногу. Иногда он даже шел навстречу кучками довольно симпатичных гражданок молодой, еще

нетронутой наружности и навеселе.

Да вот отдельные, тут и сям снующие экземпляры, необычайно смахивали на немых поросюков и соответственно, гнездились по канавам и арыкам социалистически не подобающим способом.

Некоторые (уже упомянутые) гражданочки навеселе, пытались запечатлеть на юном и благородном челе нашего Героя отнюдь не невинные поцелуи. Они (поцелуи) пахли ягодным перегаром и тайком выкуренными сигаретами.

Аль-пенистка моя! – дразнились дамы строками из популярной до оскомины песенки и раздражались смехом и шушуканьем. (Нина-а, ну перестань. Ну вот, налилась же коза! А я теперь провожай ее до дому).

Сложившиеся обстоятельства и в комплексе, и в частностях приводили Дана в не шибко хорошее настроение. А вопрошающая пожрать подошва левого ботинка, вовсе навевала уныние однообразным шарканьем и губопришлепыванием.

Тем более что ботинки эти назывались вибрамами расхваленной московской фабрики «Скороход». Новые, моднячие, из толстой свиной кожи с проклепанными дырочками под шнурки. Ан нет, надобно их теперь прошивать заново. Да еще и заклеить вонючим, но сверхнадежным клеем кустарного производства.

Ну, увидели девоньки человека живьем, а не на трибуне. Ну, в газете пропечатали. Так это еще не повод... (Дан в который раз четырехался на шикарный внешний иллюзион, так неосторожно подаренный природой матерью).

А был он высок ростом, но прекрасно сложен, без этих всяких сутулых плеч а-ля крылья грифа за спиной баскетболиста. Курчавые, темные волосы извечно свивались в замысловатую, приятного вида прическу.

Желающие могли бы обозвать его волооким, да не стоило связываться. Герой очень вспыльчив и уверен в драке. Опыт есть... Слишком часто лицо его вызывало прилив раздражения у таких же юных ловеласов.

Натура его охарактеризовалась одним словом – широкая. Некоторым из нас, в том числе и ему, отпущено видеть мир в ярких, беспрестанно меняющихся тонах. Что Герой и делал, переживая все, стараясь помочь всем, думая обо всем в целом, иногда забывая о самых непростительных частностях.

В общении, Герой быстро выходил из себя, но не успевал проявить нетерпимости, т.к. тут же забывал про обиды, увлеченный новыми поворотами, несущейся прямо вперед судьбы.

Только несколько дней назад что-то разом перечеркнуло весь мир. Какая-то пара слов, сделала его абсурдным до неузнаваемости. Ни за что не поверить в собственное сумасшествие. Но ведь Федор же был!? С его размашистым шагом носками ботинок наружу, с его извечной неустроенностью и причудами наискосок.

Дан помнил друга, будто само свое детство, игры во дворе, первые находки и потери. Он даже не знал, когда они встретились в первый раз. Федор был как данность, как нечто, чего уже никогда не выбросить из жизни. Но теперь, был ли он вообще? Зябко, внутри незнакомая, колющая в дых пустота.

День исчезновения друга, отложился в памяти до мельчайших подробностей. Дан хотел ехать тренироваться на скалы, но зачем-то раздумал и провалялся с детективом в руках с утра и до самого обеда. Наконец солнце заглянуло и в западную спальню. Тогда стало жарко по-настоящему. Лето было в разгаре, прохлада оставалась только высоко в горах. А в городе плавился асфальт, и духота после двух часов дня невыносимая.

В голову пришла спасительная идея съездить на Аэропортовское озеро, побултыхаться в воде и посмотреть на местных дам в купальниках. А для столь интимного мероприятия, доподлинно годилась компания Федора. Не сновать же среди них одному!? Наскоро поев, Дан вывалился из квартиры и запер входную дверь на два оборота.

Ему показалось, что в подъезде излишне сумрачно. Будто весь испепеляющий свет южного дня почему-то не мог преодолеть узкие окна. Оплетенные кожистыми каналами стволов и листвой дикого винограда, бойницы в мир были практически непрозрачны. Мытые неведомой уборщицей, бетонные ступени

отдавали сыростью и чистотой.

Еще – необычная прохлада, которая заставила тело покрыться тысячами пупырышков. И полная тишина. Ни хлопанья дверей, ни музыки, ни единого возгласа не доносилось извне.

Уже тогда появилось неудобное чувство зыбкости, нереальности происходящего. Казалось, что в этом мире чего-то не достает, чего-то не хватает. Но Дан отмахнулся от неудобоваримого ощущения, как от назойливой, глупой мухи.

Перед тем, как позвонить в дверной звонок, он почему-то думал, что у Федора никого нет. Но открыла тетя Лида.

– Федор дома? – спросил Дан.

– Какой Федор?!

Ее глаза неожиданно стали влажными, а губы скривила нелепая, тревожная улыбка. Казалось, еще секунда, и она расплачется. А потом, Тетя Лида сказала, что Федора нет и никогда не было. И что она не слышала более дурацкой шутки. Не слышала... Но Дан настаивал, вначале виновато улыбаясь столь нелепому розыгрышу, затем начисто стерев уверенность с лица.

Что-то сломалось в привычно отлаженном механизме окружающего мира. Избегающие прямого взгляда родные и близкие. Я не сумасшедший, просто не могу доказать обратного? Мир, рассыпающийся на части, исчезающий по кусочкам. Вечно занятые делом и собственным сарказмом люди в белых халатах.

Удивительно, как быстро меняется отношение других. Мать, тщательно скрывающая слезы. Не на шутку озабоченный, разом постаревший отец. Вся эта канитель с проверкой в психоневрологическом диспансере. В конце концов ему пришлось отступить, замолчать. Попытаться согласиться с тем, что твердили родные и доктора.

Ладно еще другие, но ведь нужно доказать самому себе. Если бы не короткая встреча с Очкариком, не его слабые намеки – полные кранты. Но Очкарик,

конечно же, знал о Федоре, только сам трус и мямля. Господи, закончилось бы это скорее. Хорошо, что эта бодяга до тренера не дошла.

И не радовали некоторые покупки, сделанные на деньги Спорткомитета и спонсоров с ткацкой фабрики. И надвигающийся расчет в заводской бухгалтерии за три месяца лета, с сохранением среднего заработка не грел душу. И беззаботность будущего бесплатного похода на озеро-курорт Иссык-Куль с девчонками и мальчишками младшаками. (Вот где теплая компания переростков любителей.) И фотография на первой полосе в республиканской газете, где улыбка начиналась от правого уха и кончалась левым, увы, не радовала.

Ему советовали тихо, почти шепотом. В тот самый момент, когда, брызгая слюной, Дан пытался доказать несуществующее. И он сник, наверное впервые, ощутив непробиваемую стену чужого непонимания.

Есть что-то, чего надо бы забыть. Даже если вся твоя петушиная натура настаивает на обратном. Да вот забывать друга и больно, и невозможно. Разве можно забыть частицу себя? Случается, но очень редко, вернее не так сразу.

Тем временем стемнело. Вспыхнуло вечернее освещение, разом отгородив звездное небо от земли. Погруженный в нелегкие думы, Дан шагал через маленький сквер, что по улице Виноградова. Тощее в дневном свете лесонасаждение, в сумраке ночи казалось неразгаданным лабиринтом из росчерков света, тени и ухоженной зелени.

Теплый ветер нежно шевелил листву на деревьях и кустах. Вот же странность, ни одного прохожего! Никого, только нудное шарканье собственных ботинок. Повороты, тонкий веер тропиночных пересечений. Одинокие пустые скамейки, под обнаженными стволами электрических фонарей.

Невозможно. Все так же, как и в то самое, гадкое утро. Никого, он не видел ни единой души до самого исчезновения Федора. Расширенное пространство, в котором не от чего оттолкнуться, не в чем увериться. Сыплющийся с прикосновением карточный домик. Как странно меняется мир в отсутствие других людей. В пустыне может произойти что угодно. И это «что угодно» абсолютно невозможно доказать!

В то памятное утро, даже бабуля не выходила из своей комнаты. И сейчас зябко внутри, предчувствие охватило сердце, и не повернуть голову влево. Убыстрить шаг, втянуть голову в плечи и проскочить мимо, если еще можно. Но нет, Дан уже видел. Ларька не было.

Еще с утра, он стоял в этом самом месте. Красная стрелка весов на белом циферблате буднично отмеривала сладкую жизнь мальчишкам и девчонкам. А теперь ларек мороженого пропал, пропал бесследно. Никаких тумб основания, даже урны с пустыми скомканными обертками. Он изъят из реальности чьей-то недоброй рукой полностью и бесповоротно. Точно также как и друг Федор, абсолютно бесследно, без всякого намека на прошлое, мирное существование. Кому это нужно?! В чем цель этой гадкой круговерти?! Если кого спросить, наверняка скажет, что не имелось того ларька от самого его рождения... Неужели это возможно?!

И не было толстой бабы Нюры в белом накрахмаленном колпаке, и не было воскресной очереди. Не было вкуса пломбира, до сих пор вызывающего слюну. Ничего не было. Нет мороженого.

И вдруг Дан понял самое главное. Когда-нибудь, еще не сейчас, но когда-нибудь, не станет его самого. А скамейки, все также будут стоять под фонарями в немыслимой пустоте. И листва будет шуметь волнами непознанного моря с неизведанными течениями и тайнами, голосами и вздохами.

Но не будет в мире самого главного. В нем не найдется места для него, для его детства, для любви. И все покроется тьмой и бездушием. А чьи-то, абсолютно чужие руки заполнят жуткие дыры нечеловеческим действием.

Тоном пастельным вычерчу лето

Мягким и светлым за горизонт

Будто в нем детство спрятано где-то

Доброй загадкой, быстрым штрихом

С робкой надеждой, с первым отчаяньем

С вихрем желаний, до самых небес

С только моею дорогою дальней

Пыльной дорогой, за поле чудес.

Раковина появляется на сцене

Ранним, свежим утром ...надцатого числа, не помню какого года, я вышел из двери распахнутой в лето. День обещал стать знойным. Хорошо было бы смотаться на парковые пруды и прохладится во взбаламученных водах. А еще хочу пару эскимо на палочке, чтобы обязательно в шоколадной оболочке.

Солнечные лучи у самой земли перемежались зеленью. Составляющие ее листочки заигрывали с небесным теплом и что-то ласково шептали на неизвестном мне наречии.

Асфальт у входа в слегка потрепанные двери подъезда дышал прохладой от вечерней поливки. Я вспомнил, как вчера, уже в темноте, хорошо подвыпившие мужики поливали не только растения, но и друг друга, повизгивая радостными, нецензурными междометиями.

Начинающийся день сиял чистотой, как новый лист писчей бумаги. Мне предстояло всего на несколько километров поистоптать дышащие хлябью башмаки. Конечно можно отправиться в кино или прогуляться к однокашникам в парк, попытать разнообразных ощущений, в местах гражданского отдыха.

Я поковырял носком утопанную земельку около нашей беседки, но решение главного вопроса не обозначалось. Потом задрал голову вверх и посмотрел на

покинутые мной окна. Они утопали в солнце. Духота в темном зале? Сделав окончательный выбор, я устремился в парк КИОИГ (культуры И отдыха имени Горького).

Место нашего обычного сборища – скамейка в тени тополиной листвы, подле памятника Чапаю, с распростертой в революционную даль рукой, оказалась занятой. На ней сидел немолодой и как-то не по-нашему разодетый товарищ.

Видно в ожидании чуда, гражданин елозил задом и нервно покачивал наложенной на ногу ногой в востроносых, до блеска начищенных полуботинках. Он курил терпкие сигареты, опять же импортного производства так смачно, что захотелось и мне.

Я постоял перед ним для создания вида нерешительности, затем как бы набравшись наглости, подошел вплотную и сказал:

– Дядь, дай закурить, а то уши в пельмень опухли, и слюна через губы перехватывает, а?

Товарищ вздрогнул, надолго уставился на меня немигающе круглыми, белесыми глазами, но все-таки выдавил из себя:

– А вот курить не нужно с первого класса и бычки по улицам собирать. Тогда и уши в вареники не превратятся.

Теперь я испуганно вытаращил глаза и кое-как смог ответить на нахрап столь неожиданный:

– Да я вообще, вчера курить начал. Меня от запаха табака тошнит. Как ты сам можешь вдыхать вредоносную гадость. – И что на меня нашло?!

– Ну и брешешь родемый, как ты курить начал, я хорошо помню. 20 сентября 19.. года вместе с Колобком, вы насобирали долбанов на остановке двадцать девятого и засмолили их в канализационной шахте, напротив дома номер 32.

Тут уж я в штаны чуть не навалил и сразу же перестал понимать, что такое вокруг меня происходит.

– Товарищ! – заорал я благим, но приличным матом, – мы ларьки с арбузами, как есть не брали. Это Куба с компанией кавуны выкатил. А мы и взяли то, что по кусочку на рыло. Да я в тот вечер, всю дорогу просидел дома.

– А в парке Панфилова, год назад, ты тоже носа не показывал!? Небось, еще до сих пор эклерами отрыгается.

Тут я сдрейфил окончательно и даже поднял руки вверх, как в кино про бандитов. Дело в том, что дело было на самом деле. Год назад, наш дворовый придурок Мартышка втянул меня в пренеприятную историю с полнейшим криминалом.

Обнаружив отсутствие решетки в вентиляционном отверстии цеха кулинарных изделий от ресторана "Достык", что рядом с танцплощадкой, он вовлек нас на путь крупного хулиганства.

Когда мы попали вовнутрь и увидели гору аппетитных, кулинарно упомянутых изделий, то остановить нас стало просто невозможно. Взыграло постоянное недопотребление сладкого в обыденной семейной жизни.

И самое обидное в том, что съели мы сравнительно не много. Вот я, например, после трех эклеров, газировки, пары кексов, батончиков в шоколаде, только икал надсадно и боялся, что обратно не вылезу.

Но потом же, как нам упомнить, кто первый принялся кидаться пельменями и остатками дважды недобро упомянутых кулинарных изделий? А ведь получился такой разгром, какие наносил противнику, исключительно нежно любимый Чапай, т.е. полнейший. Мы неделю потом на улице с опаской появлялись. Просыпались и вздрагивали от каждого стука, в каждую дверь. А он знает! Нет, теперь мне как. Что мне за сей криминал отвалится?

– Что сдрейфил, в штаны наложил трубоч сопливый, – гнул прежнюю линию гражданин начальник. – Небось в колонию-то, не хочется?

– Дяденько, вы меня тюрьму содить будете? – сдавлено проблеял я.

– Нет пацан, повезло тебе. Есть для тебя настоящее дело.

И тут то понял я окончательно, что будут сейчас вербовать в заправдишные шпионы. Я набрал полные легкие для храбрости и выдохнул:

- Товарищ, вы только скажите. Вы наш советский?

Он хитро прищурился и ответил, слегка скривив тонкие губы под заграничными усами:

- Наш, точно наш, и задание у меня особое.

Я опустил руки по швам, козырнул и по военному четко доложил об ожидании дальнейших указаний.

Майор

Майор Пенкин был немного суетливым, и ужасно натренированным человеком. Но качества сии оказались далеко не самыми главными в его стремительной уголовно - розыскной карьере. Дело в том, что Коля Пенкин уродился еще и оперативным уполномоченным с западным, забугровым наименованием - экстрасенсом, причем экстракласса.

Конечно в милиции, таких вот странных явлений, по идее существовать не должно, но тонкость в том, что существовало. Наверное кому-то сверху, нетрадиционного блюда очень хотелось. Ведь нужно же кому-то, кое-где, у нас порой, разварить круто заваренную кашу. Вот и находился мужик при месте, еще как находился.

Первый раз Пенкин почувствовал себя сыщиком экстракласса, в прошлом году, во время знаменитого криминала "о динарах с дырками дубль-2".

Положение тогда сложилось, ой не шуточное. Многие великие боссы уже задумчиво чесали потные лысины, предугадывая скорое расставание с родными креслами. А они (и кресла, и непосредственно сидячая начальственность) давно стали не только местом работы, но и единственно возможной средой обитания.

Речь о том, что именно в те дни, именно в нашем городе, чуть не у самого верхнего командира, таинственно, в одночасье исчезла коллекция золотых монет с дырками.

Умопомрачительно дорогая, почти бесценная пропажа не оставляла надежд на мирный исход дела. Статистически, это второй случай ее воровства. Но и нумизмату, и его подчиненным легче от ссылок на рецидив не приходилось.

В первый раз, в то далекое, гражданско-победоносное время, Управлению удалось обойтись малой кровью. Ворье тогда подобралось особое, так сказать аристократической направленности. И призывы к тому, что спертые монеты, есть национальное достояние, что сбыть их никак не возможно, не остались не услышанными.

Совершенно тем же способом, как и ушла, коллекция приплыла обратно. Свершилось нечто, до той поры в криминальной практике не слыханное. Антиграбители вторично взломали форточку, проникли на строго охраняемую государством территорию и возвернули коллекцию с глубочайшим почтением взад.

О чем и написали записку сначала сами пострадавшие от действия, затем цельный рассказ сказочник-следователь, который лично по делу не проходил.

Но ветхие подробности канули в прошлое. Аристократов как класс, удалось ликвидировать под корень и безоговорочно. А на современные, многочисленные призывы разойтись по доброму и в этот раз, динары никто не приносил.

Найти же чегой-нибудь самой милиции, до обидности не удавалось. Вот почему настроение многочисленных начальников опускалось ниже основания державных спин. Предчувствие неминуемой беды в коридорах власти, ощущалось в многократном увеличении количества выговоров и лишений премии.

В то памятное сердцу утро Пенкин (тогда еще младший лейтенант!) ехал в переполненном вагоне троллейбуса и бдительно, по закоренелой привычке, читал мысли окружающих.

Выработанная во времена учебы в Высшей Школе милиции, привычка к бдительности, на лице экстрасенса никак не проявлялась. Чудо лейтенант производил легко, в тайне от остальных, без лишнего напряжения и припадков сопливой эпилепсии. Скапливая силы на что-либо стоящее, настоящее, про свойство экстраординарное Пенкин никому не разбалтывал.

Ну не сексотить же на других по мелочам? Зачем понапрасну нервировать ежедневно-мирное население. Дедушка Коли Пенкина – старый, мудрый колдун, чудом избежавший сталинских репрессий, накрепко вбил во внучатую голову нехитрое правило – "Силу воздействия определяет результат и величина личной выгоды".

На уроках Политэкономии и Марксистко – Ленинской философии Пенкин сам, но конечно с помощью идей и книг великих классиков-мыслителей, разобрался в истоках настоящего закона.

Ведь если рассмотреть поближе, оно и будет то лучшее, что ни на есть явнейшее, доказательство верности Марксистского учения и корня Гегелевской диалектики. Отношения между силой и результатом, служат мощным выражением единства и борьбы противоположностей в применении к экстрасенсорным, научно – доказанным способностям советских колдунов.

Жил же когда-то великий добрый дедушка Ленин на белом свете? Жил, вне всяких сомнений. И злой колдун – Колин Дедуля на этом свете воздух подгаживал. Тоже без лишних сомнений и остальных разных интеллигентских причиндалов.

И ведь как они друг с другом не ладили, какие у них сшибки идейные порой получались, сие знать надобно. (Чего не знает никто). А вот появились же оба на одном разэтаком свете, пиво за одним столиком случалось, попивали.

И что же, как результат движения природы – вечного, неостановимого? А вот сияет теперь ярким пламенем Марксистка – Ленинская идея в сердце Дедулиного потомка по женской линии Коли Пенкина. Сияет!

Чего только не происходит во времена великих потрясений и классовых баталий. Для примера, отец Коли, в гражданско-следственное время вынужденно

замаскировался под знаменитого советского чекиста.

Активно надо сказать замаскировался, с тремя орденами и четырнадцатью делами на высше – расстрельном уровне. Но и он же убедился – таки в верности единственно правильного, непобедимого учения. Лично привил ростки свежие, вечно – зеленые сыну и наследнику.

И вырос Коля по книжкам писателей-чекистов, сказочников-обвинителей, и других классиков праздничного социалистического реализма. И стал он веселым, компанейским парнем. К тому же комсомольцем, общественником и спортсменом несколько раз первого разряда. Да не верил бы Коля ни в какую магическую ерунду и чертовщину, если бы сам частью ее не являлся.

Расположившись на задней площадке одиннадцатого троллейбуса, о всякой чепухе Пенкин не вспоминал совершенно. Просто он чужие мысли читал, верный старому, тыкающему вперед пальцу с плаката о бдительности к врагам и гадам империалистам.

Вот гражданин с портфелем-припухлостью и сам мешковато – мелочный, и проблемы у него такие же. Бабы какие-то с утра и дворничихи голосистые. И жена змея, и хитрая Сенечка секретарша, и взятки мелко купюрные.

Мне бы под локотки его бело-рукавного пиджачишки и в отделение. Но дядька-то так, шелупонь-мелочь. Да в данном вагоне, каждый хоть гайку от сраного болта, да стибрил, за три последних дня. Что их за мелочевку в тюрьму попересажать?

Но сами же граждане здесь не при чем. В них остатки – недобитки мелкобуржуазной психологии бродят и буйствуют. Напрочь при Коммунизме выветрятся. Научно доказуемо. Ведь кто сам у себя из карманов тянуть будет? Только дурак какой или алкаш по линии белой горячки. А при Коммунизме? Вот то-то и оно, там достояние будет общее, наше, и материальных ценностей вдоволь. Тогда и перевоспитаются.

На такой ноте и началось. На остановке около дома Дружбы, что рядом с магазином фирмы Восход по улице Фурманова. Тут-то и началось.

Волна внимания, которую каждый направляет на входящих и выходящих, перенеслась чуть дальше, чем положено, и вернулась откровенно подозрительным отголоском чьей-то мысли. Или точнее даже каким-то напряженным ощущением того, что кто-то уходит. Кто-то именно такой, кого отпускать не следует. Ну, ни в какие ворота.

Растолкав входящих, а потому не на шутку возмущенных граждан, Коля метнулся вдогонку этого, которого не знали даже в лицо. Беглая поверка мыслей людской массы,двигающейся как по ходу троллейбуса, так и в противоположные стороны, зацепок к действию не предоставила. Зато западное направления сразу принесло ключевое слово "динар...", выпущенное в эфир извилиной неизвестной принадлежности.

Остановить солидный поток машин, едущих в утренний час пик по улице Фурманова, дело сложное, а главное продолжительное во времени. Экстрасенсорные удары по загравкам водителей могут привести к совершенно обратным, непоправимым результатам. Коля ужом скользнул в лихо вертящий колесами лабиринт, на практике подтверждая высоту первого разряда по бегу с барьерами.

Одно время даже казалось, что дело закончится без внешних эксцессов. Но водитель автобуса номер 2 явно перебрал в скорости, и пришлось резко затормозить. Визг колодок разразился до того пронзительно и пугающе, что вывел из себя мотоциклиста Петрова. Тот вздрогнул, вильнул и угодил в зад почти остановившегося средства передвижения.

Паника, вызванная активным инерционным валом внутри салона, усилилась как в кино. Коля походя услышал женскую мысль - "а этому все одно, лишь бы за титьки кого по случаю хапануть", затем истощный крик - "пожар в кабине водителя", звон стекла и клекот панического мысли и столпотворения.

Ну все, - подумалось самому, - теперь надобно задержать, иначе с работы попрут. И времени на нерешительность точно не оставалось. Но впереди, за пятьдесят метров людских тел, кто-то упоенно припевал "динарчики, мои динарчики" в такт бодрому, пока беспечному шагу. И ноги сами задвигались с удвоенной быстротой, уже не мыслимой, а потому очень болезнетворной для окружающих.

Наконец, в пределах видимости оказалась вполне подозрительная безрукавка с разводами пота на спине. И где-то внутри подкатился ком ликования и радость победы, как вдруг траурно зазвенел призыв отчаливающего от остановки четвертого трамвая.

Спина резко дернулась вперед и левым боком. Спина засокращалась лопатками с пузырьком воздуха между ними, затрепыхалась в ускоренном движении. Владелец ее побежал, а потому успел. А Коля оставался дальше, а потому ну ни как!

Двери злобно, словно гадюки зашипели, закрывая сезам перед самым разочарованным в мире носом. И ноги сами подкосились, и чуть не стали колесом. Но было в этом парне, по последующим словам его начальников, что-то такое... Именно такое..., что выгодно выделяет его среди хороших и очень хороших оперативно – розыскных работников. Не сдался лейтенант на милость обстоятельств, даже в столь трудную минуту.

А спас его поворот трамвая на улицу Карла Маркса. Трамвай тот старенький, вагоновожатый опытный, да чуть менее древний, чем визгливое средство передвижения. А посему, скорость на повороте спала практически до нуля.

Пенкин аккордно напрягся, догнал ускользящую удачу и взял ее за рога. Рога опустились, прекратилась подача электроэнергии, и к вящему неудовольствию пассажиров трамвай застопорился окончательно.

Словно укротитель глотку тигра, Пенкин раздирал двери в дряхленький вагончик. Почувявший неладное фанатик-коллекционер, работник уважаемого музея и ай-йя-йя, грабитель Бартыкин, пытался вырваться из могучих милицейских объятий. Он даже успел оскорбить милиционера именем животного "козел". Но это поздно. Победа пришла полная, с прощением всяческих жертв и прочих неудобств.

С тех пор Пенкин слыл экспертом по наиболее запутанным и серьезным делам. И ходить бы ему в генералах, да вида крови новоиспеченный майор не выносил совершенно.

Не приемлил он сцен насилия. Делалось ему плохо, и пена изо рта шла. Если бы не все тоже высокое начальство, марал бы майор перьями по бумаге где-нибудь в зачуханной молью конторе.

Но и тут помогли. Определили Пенкина в тихое, но престижное место. Повышением – на кражи из музеев и выставок, без взломов, проломов кумпола и прочих телесных неприятностей.

Кто же захочет ограбить музей в социалистические времена?! Ведь все в нем общее, всенародное достояние, переписанное, занесенное в каталоги и журналы, а потому не продать и не спрятать его никому. Потому свершалось на музейной почве лишь мелкое бытовое хулиганство, да и то не каждый квартал.

Так и жил Пенкин – спокойно и почти без душка. Слыл сыщиком интеллигентным, с упором на мозговую деятельность, а не на волчьи ноги и грубое телесное дознание. Процент раскрываемости имел, между прочим, отменный. Золотой надо сказать процент. И веру в чистое и светлое будущее майор Коля имел. Как и положено иметь таковую каждому, настоящему стражу порядка.

Еще раз об истории

Из истории нам не выскользнуть никогда. Для историков же мы лично значения никакого не имеем. Другое дело исторические фигуры, вокруг них вся катавасия и лепится.

Вот почему нам интересно знать – был ли Александр исключительно Македонским или голубым в одночасье. Или что там ел Черчилль за завтраком, а с чего поимел несварение желудка. И войну, и битвы они выигрывают. А про Кузькина и его мать, нам ни знать, ни ведовать нет охоты.

Точно так обстояло и с историей Раковины. Она делится на два периода – до Артаса и после. Уродился Артас армянским князем. Но само по себе имя его, в данной истории, почти ничего не значит. Не имел Артас ни богатства, ни

бедности. Средненький такой, не выдающийся (для князя конечно).

Как Раковина к нему попала, и как ее не разбили, не истолкли в порошок аптекари за прошедшие тысячелетия, предполагают понаслышке, да урывками. Ибо далеко не каждому владельцу Раковина раскрывалась настолько, чтобы остался в истории след от Проникновения. Далеко не каждому.

И все же ценить себя она заставляла, иначе как объяснишь столь небьющиеся качества? И вина из нее никто не набирался, и гвозди ей не заколачивал.

Так вот, Артас хоть не богатый, но все же князь. И когда в руки ему досталась столь древняя и забавная вещица, решил он ее облагородить согласно своего положения. Отдал Раковину старому еврею ювелиру. И тот, надо сказать, осторожно так, не нарушая природы, вставил в хитиновое тело три драгоценных камня, позолоту наложил и прочее.

Позолота с годами стерлась, а камни прижились. И стала Раковина иметь историческую, непреходящую стоимость. С тех пор, каждый владелец известен доподлинно. Ведь менялись они не особенно часто. Если умирал кто сам или исчезал при невыясненных обстоятельствах.

Со временем, обстоятельства постепенно накапливались. Появились даже предания, поветрия и ужасные тайны. Но коллекционеры и собиратели богатств народ упрямый и до тупости падкий на драгоценности. А цены на бриллианты опускались весьма редко и довольно умеренно.

Рассказывают, правда, что и Кука не съели, а числился он среди Владельцев. Но верить в досужие байки не стоит, т.к. в список поименный, путешественника никогда не заносили. Вот на счет одного псевдо умершего Императора, так знамо точно. Был он там и Врата проходил туда и обратно многие, многие лета.

В страну снежных полей, белых берез и русской скуки Раковина попала случайно. Принята, как подарок любви волоокой, холодной красавицей, от темнокожего, горячего наследника базарного менялы. Да не на счастье. Но так и прижилась реликвия до наших времен, кочевала семейно – ломбардной ценностью.

В бурном потоке революции, лихой кто-то пытался уйти с ней на юга. При попытке бегства в постельном белье через границу, он же отколол один бриллиант и прищучил в неизвестном направлении. Но два остались, а с ними и место во всемирно знаменитом, пролетарском музее буржуазного быта.

И это надо же, при эвакуации в Сибирь вещь не пострадала. А тут на тебе, из-под самого носа охранника в зале экспонирования сперли, и хоть бы хны. И как сперли, с какой нахрапистой лихостью?!

В помещение экспозиционного зала Краеведческого музея, купив билеты у контролера для отвода глаз, вошли двое мужчин явно не интеллигентской наружности. Продащица билетов на них сразу внимание обратила. Кепки на глаза надвинуты, каблуки на сапогах кованные, гром от них такой, будто козел отбивает на кафеле чечетку. В будний день, с утра в музее вообще никого. Поневоле подумаешь дурное, когда в ранний час к тебе вламываются два угрюмых жлоба.

Пенкину такие бдительные контролершсы нравились с начала его работы в милиции. Глаза у нее добрые, взгляд вроде елейный, а заглянешь вовнутрь, твердее кованной стали! Обычно эти пенсионерки после службы на режимных предприятиях не могут остановиться от привычки бдить окружающее сполна. Вот по-настоящему ответственные граждане и гражданки! Есть им (не в пример прочим аморфно-телым) дело до сохранности народного достояния. Именно на их сознательности держится советский правопорядок. Чуть чего, и враг не пройдет там наверняка.

Руку того бугая, что билеты покупал, запомнила бабулька с милицейской, фотографической точностью. С такой лапой, в мазуте вываленной, ему не в музеи, в порядочную столовую входить не положено. А туда же, сует рубль рваный, как ни в чем не бывало. Старуха сдачу от такой наглости отсчитала – 80-коп. Мужики к экспонатам, а контролер заволновалась уже тогда. Да разве оставишь свой пост?! День будний, сменщиков не положено, да и не помнили ничего разбойного уже лет как двадцать. Знать бы куда упадешь, настелил бы газетами весь пол.

Но честно, больше всего боялись, что начнут в зале распивать водку. Вот эти безобразия случались у них не единожды. В прошлом году одна пьяная сволочь, задавила чучело медведя панды насмерть. Потом пришлось экспонат отвозить, реставрировать за иностранную валюту. А этот урод на суде заявляет, будто

мертвое чучело медведя напало на него по собственной инициативе. Где слов таких нахватался, один черт его знает?!

Но в этот раз поначалу вроде как ничего. Контролер за ними доглядывала сквозь коридор. Идут из зала в зал, не задерживаются особо нигде. Потом чувствует – замешкались, напыжились и вроде притихли. Это как раз там, где драгоценности за пуленепробиваемым стеклом. В том зале делать вора и хулиганом нечего. Там такие стекла установили с нашего оборонного завода! Директор лично кувалдой демонстрировал. Как со всего маха кувалдой дал! Штукатурка по всем залам сыпалась, а хранилищу хоть бы хны.

А тем временем на подставках из бронированного стекла приноровились граждане распивать неслабо алкогольные напитки. Тихо, укромно и милиция на бобиках по коридорам не рассекает. Сколько раз отваживали уродов от места того, но нет, будто намазали медом! Котролерша веник прихватила, пост вынужденно сдала и туда. А эти супчики громяют сапогами навстречу. Морды багровые, там с утра духота, прет от них перегаром и чесноком. Вот козлы!

Баба их веником на встречном движении. Присмотрелась – батюшки, народ честной, лица нет на алкашах! Точно двинутые. Один ржет как конь на случке, а второй как заорет:

– Призрак! В зале был призрак!

В это время в дальнем зале как звякнет осколками вшивая стеклянная броня! Надо еще этому директору завода стеклопроизводителя сыпать по первое число. Ишь ты, показуху устроил, буржуазный маскарад. Контролерша не робеет, в голос взяла, вцепилась в отребье социалистического народа мозолистыми руками. Да где здоровых мужиков удержать!? У них пиджаки то ли в масляной отработке, то ли в чем позапашистее. К выходу как рванут!

Тогда контролерша к телефону и 01. Пока оперативники приехали, след простыл алкашей. Но наши свое дело знают туго. Через два часа повязали супчиков, те еще не успели протрезветь. Кусты сирени за каруселью облюбовали под сон. Видать, затаиться хотели, облаву переждать, а потом отвалить втихаря. Причастны, они причастны! Но как расколоть, вот вопрос.

Самое в этом деле странное и паршивое оказалось не с механизаторами. И вообще, твердят селяне как заговоренные, мол отородясь не брали никаких музейных экспонатов. По единую копирку твердят, вторые сутки пошли как не признаются. Полезла из мужиков настоящая мистика словно пена из пива.

Выдали на гора, мол кроме них в зале был еще один пацан. В очках, хлипкий такой, улыбочивый, вежливый. Стоял, говорят, у экспонатов, историю изучал, водил по витрине пальчиком. Они его было застеснялись, да где там! Похмелье колбасит, трясет, скорее бы трубы залить.

Отвернулись для приличия, разлили пузырь портвешка в стаканы ровно напополам, закусили малосольненьким огурцом. Только выпили, глядь, пацан воспарил в воздух словно фокусник в цирке. И стемнело в помещении, так стемнело, и будто холодом дохнуло могильным. А мальчонка прямо в воздухе надвинул на голову из-за плеча капюшон, и руки к ним тянет. Длинные, костистые. Страх и ужас.

Тут контролерша вдалеке как заверещит, они и рванули напрямик к выходу. Сзади как бухнется стеклом! Осколки, и грохоту, грохоту!

Бегут, навстречу эта старая коза с веником. А у Вани истерика, ржет нервно и прекратить никак. Глупая баба давай елозить метелкою по мордам, они подались от нее вприпрыжку, а на воле от греха затаились в кусты. В вытрезвитель кому охота?! Может белая горячка началась?! А чтобы трогать бесценные музейные экспонаты, так это ни-ни!?

И проверил их мозги экстрасенс Коля Пенкин, проверил как положено, с пристрастием и без лены. Только внутренности их пьяные разворошил, чуть не свалился в состоянии мнимого алкогольного опьянения. Но и это, и всякую непотребную грязь переборол в себе милиционер. Резкость навел, точно, есть образ очкарика, расплывчатый, мимолетный, но есть. Хотя связан он с музеем или с другой какой гадостью, понять сложно. Но чувствуется, что закавыка не просто так.

Потом в деле наличествовал парк Горького в отголосках детства этого очкарика, по какой-то сложной взаимосвязи, скамеечка под тополями эта самая. А дальше по третичным ассоциациям – конченный кавардак, моллюски, капюшоны, холодильник марки ЧТЗ. Имеются в чужих мозгах места засоренные самою

нелепою дрянью! Но рациональный след отыщется во всем, надо только покопаться с настойчивой бдительностью. Главное зацепиться за ниточку, а потом свяжется клубок, а из клубка получай готовое дело.

Хотя самая противная заковыка ожидала Колю Пенкина непосредственно на месте преступления. Самое противное заключалось в устойчивом подозрении, что та, дневная катавасия и погром, и битье бронебойных стекол не имели к пропаже Раковины никакого отношения.

Похоже, музейной ценности приделали ноги еще прошлой ночью! А утренний погром – только бравое прикрытие, чтобы сбить его, экстрасенса Колю Пенкина с правдивого мыслеследа. Раковину хапнул кто-то совершенно другой. Не пахло тут ни механизаторами, ни пионерами в очках и галстуках. Грабил кто-то страшный, чужой и совершенно не наш советский.

А эти?! Мальчишки, шалопаи противные. Вот сунут годков по восемь за государственное достояние, сразу повзрослеют в зоне особого заключения. Не то на восемь, повзрослеют на все шестнадцать лет.

Дело вырисовывается

А впрочем, наказание Пенкина пока не интересовало. Он лишь так, мысленно пугал им воображаемого противника. Майор вышел на мыслеслед, и дело было в парке Горького. Я стоял перед ним навытяжку, и он вполне справедливо подозревал, что я и есть тот самый очкарик. А я не знал о таком повороте событий, совершенно ни капельки. Потому мне и грезилась дурь необычайная, про шпионов, да дальние страны.

Но майор Пеннин гораздо хитрей, он то располагал информацией и опытом. Он понимал, что иные о себе плохого не смогут вообразить, а некоторые вовсе не ведают, что творят. Потому нить криминального клубка распутывал с тщательностью и чекистским прилежанием.

Так как лето выдалось достаточно жаркое, о безводных ковбойских прериях мне уже не мечталось. Но банановая республика на берегу лазурной лагуны, пальмы и кокосовые орехи виделись настолько, что почти ощущались.

Еще, где-то в стороне, мелькали манишки и фалды лаковых вечерних смокингов. Пятнами ходили круглые, дряблые лица американских нефтедобытчиков в черных котелках и тонких дужках пенсне. Звенели пиастры, курили толстые гаванские сигары. А самое главное, я очень хотел пистолет с именной, дарственной надписью на память.

– Только не выдумывай себе всякой ерунды, – наотмашь оборвал тогда неизвестный стране, но советский майор – экстрасенс Пенкин. – Нечего лишнего сочинять. В нашем деле и так ребусов в пол кузова. Лучше расскажи мне о Федоре из четвертой квартиры.

И тут во второй раз все это – и парк, и лето, и моя маленькая жизнь, т. е. все, что и во мне, и снаружи, поплыло куда-то вдаль, мимо меня, отдельно от брэнного тела.

А был Федор моим самым, нет не совсем самым, но закадычным другом. И знали мы друг друга так давно, сколько знали мир вокруг нас. Будто наш старый двор, в котором родились и выросли вместе.

У человека всегда есть что-то, что он помнит лучше прочего. Что-то бывшее наружное, из-за давности знакомства и ежедневности обстоятельств, ставшее непременно внутренним, своим можно сказать.

Это мой мир. Самая памятная его часть. И от изменений здесь, я отказываюсь напрочь. Не хочу принимать чужое вторжение ни под каким соусом.

Я привык к расстоянию до широких, мясистых листьев платана под балконом на третьем этаже. Я привык к разводам азиатского орнамента на ковре в спальне. Я помню рисунок штор на окнах. Я помню лицо матери...

Оно не меняется. Ничто не в силах справиться с этим. И пусть спешат годы, расширяют границы увиденного, здесь все остается по-прежнему. Иначе, куда

же нам возвращаться в конце концов? Иначе, как нам оставаться самим собой? К чему стремиться и откуда черпать силы? Внутренний мир неделим, и грубое прикосновение к нему болезненно, как ничто другое.

А у меня кто-то украл Федора. Я чуть с ума не сошел, а злобный кто-то даже не удосужился сказать мне, зачем и почему. Просто оборвал одну из нитей детства так, как никогда не бывает.

Федор пропал, но об этом не знал никто, даже его родители. Однажды вполне обыкновенным утром мы с Даном вышли во двор, а он нет. Дан пошел за ним домой, а там сказали, что такие шутки глупые. И нет, и никогда не было никакого Федора. А еще, они пожалуются нашим родителям.

Я откровенно застопорился на таком непонятном факте. Мы ж не в сказках живем, а в реальности. И замолчал. Не люблю я свои мысли превращать рупор трибун. А у нас правильный во всем и всегда. Он в буйство впал. Его даже к доктору возили. Он ясность любит, а я в конце концов принимаю факт и начинаю над ним раздумывать. Как есть, так и есть. Нужно только понять механизмы причины и следствия. Мне было легче.

Потом, мы вдвоем с Даном целый месяц искали хоть один след из Федоровой жизни. В школе, во дворе, в секции. И не нашли ничего. Даже жженого пятна от дымовушки на скамейке и то не оказалось. А он мне тогда, искрой чуть не выбил глаз. Получается, не только Федор, все с ним связанное исчезло из нашего мира напрочь.

Это самая необъяснимая вещь, которую я знаю. Ведь если бы я только суматик. Но Дан-то, с его характером? И не сговаривались мы, чай не идиоты. В общем, нас так и прозвали во дворе – два Федора или еще с Федькой в голове. Было над чем поприкалываться у наших пацанов.

– Точно вам Дан воду наплел, – наконец выдал я.

– Нет, – сказал чему-то усталый и донельзя опечаленный Пенкин. – Я самостоятельно опробовал на собственной шкуре. Пренеприятнейшее занятие ставить над собой такие недобрые опыты.

Только скажу я тебе малыш, что дело у нас больно хитрое и важное. Государственная заинтересованность присутствует в нем. Так-то. Чую я подвох чей-то гадкий и сирий, но всеобщий. Будто хотят украсть у нас, что-то главное. Да вот кто, выяснить не могу. Но выясню, еще как выясню, на то и существует наш социалистический, уголовный розыск.

Неприятности

Пропажа раковины в городском музее, составляла начальное звено в цепи событий, так лихо и бесцеремонно закруживших офицера советской милиции. Когда ему поручили вести новое дело, Пенкин сразу же почувствовал неладное.

Продумано оно, прикрыты ходы – выходы, отвлекающие маневры. Заметьте, стекло рухнуло, только когда мужики из зала ушли. И очкарика кроме них не видел никто, но ведь мыслеслед его был!? Вот когда собрали специалисты из технического отдела ту бронированную стеклянную туфту – витрину по осколочкам, склеили воедино, выяснилось абсолютно невозможное, но как раз по Колиной части.

Он только обстановочку в соответствие привел, восстановил пунктуацию и хронологию, и раз – подтвердилось самое главное. Ограбление действительно произвели заранее, глубокой ночью накануне! И совершили противоправные действия настолько грамотно, что ни один работник музея не заподозрил с утра ничего. С наружности система охраны выглядела как новенькая, а пропажу за пыльным стеклом могли не обнаружить еще с месяц. Вдобавок ко всему улики нормальных ни одной! Ни взлома фомкой специализированной, ни окурков беламора с характерным прикусом, ни отпечатков пальцев, с занозой на стекле.

И скажите, как глубокой ночью можно оказаться в запертой на английский замок комнате!? Под сигнализацией к тому же. Она родимая, простая и безотказная напрочь не сработает, будет всю ночь мирно поблескивать лампочкой. А лампочка та, под неусыпным надзором фронтовика-разведчика на седьмом десятке, который божится– матерится, что не спал как на духу.

Вдобавок ко всему, горе – механизаторы божатся клянутся, что пили в зале экспонирования они не водку, а портвейн местного производства! Не просто наводят тень, а предоставили все к тому доказательства, в том числе и пластмассовые стаканчики со следами красной жидкости на боках. Конечно это нужно экспертизой отдельной подтвердить, но не врут, и так видно.

Но откуда тогда в углу зала экспонирования бутылка столичной водки и закулочные объедки? Что они там совершали еженедельный вино-водочный ритуал?! И кто именно и когда? Получается, что главная пьянка состоялась в зале глубокой ночью. Ну это скажите к чему?! Зачем вся мировая дрянь и гадость в двух экземплярах? Может, это какой намек? Ведь не бывает в жизни случайных совпадений. Где тогда хваленый грабительский профессионализм? И при чем тут очкарик, растворившийся среди белого дня? Да бес с ним, с очкариком! Мало ли что померещится двум алкашам. Но водка, мало соленькие огурчики – натуральный факт.

Хитрый кто-то не спеша, в полном одиночестве, выпил пару соток столичной и закусил малосольненьким огурчиком, на месте преступления. Но в голову гаду, водочка не ударила, и грабитель поганый протрет посуду влажной тряпкой, на предмет отпечатков пальчиков. Подымит табачком, пепел стряхнет на ковер в стороне, не под ноги, а вот окурочок засунет в карман. Ну надо же! Это ж не дело, а целый сюжет для Шерлока Холмса.

Исчезла раковина и пара золотых безделушек для отвода глаз. Лишнее Пенкин сразу учуял. Ведь брали цацки нехотя, долго вертели в руках. Золотой браслет осемнадцатого века, закатили в темный угол между перегородками. Сыщики при повторном осмотре случайно нашли.

Вот, в общем-то и все, но грабитель определенно мужчина. Он ничего не боялся, никуда не торопился, да и напиток потреблял мужской, исконно русский... Зацепок кот заплакал. Особенно если учесть, что работал лучший в розыске экстрасенс. Маловато, но не поделаешь ничего. По очкарику следы бледные, будто их навели специально с каким-то умыслом.

Совсем плохо, когда человек грабить не боится. Экстрасенсу ведь что нужно – эмоциональный след. А тут какое-то полнейшее равнодушие. Фигура нечеткая в плаще – балахоне. Действительно призрак?! Она кажется немного оторванной от поверхности пола и чуть скользит в темных недрах музейной залы. Ножками не перебирает. Тьфу ...

Пытаясь, навести резкость в линиях изображения, Пенкин пыжился и потел, но картина не улучшалась. Нервным, нетерпеливым жестом, он попросил понятых очистить помещение, задернул шторы и с головой окунулся в минувшие события.

Стало холодно. Напряжение не проходило даром, Пенкин чувствовал, будто истекает кровью. Какая-то подсасывающая сырость проникла в сердце и покалывала изнутри тоненькими, ледяными иголочками. В крайнем напряжении, он еще более приблизился к фигуре. Ночь прошлого захватила его разум и стала реальностью.

Ей не суждено было жить долго, ибо рассвет приближался заново. Он уже растворял небо прозрачностью не пришедшего дня, насыщал глубиной. Картина стала реальной и потому более страшной. Пенкин нехотя, следуя природной инерции и долгу чести, придвинулся к пустоте балахона вплотную и заглянул вовнутрь.

Будто белая птица надломилась в воздушном полете и падала вниз. И падение это поглощала бесконечность, и не оставалось в нем ничего, кроме ужаса окончания.

И пришла боль, неприкаянная воплоти. Липкая и гадливая, она переполнила пространство холодом, и сочилась в нем слизистыми нитями, к себе испытывая полное отвращение.

Глаза открывались сами и никак не могли открыться. И напуганные мыслью о собственном не существовании, они вылезали из орбит и гранатами взрывались в пустоте.

Потом неожиданно пришел свет, и где-то на периферии его струящейся сферы майор увидел уютный дворик и яркую бирку дома № 30. Маленький уютный двор детства, три пацана, понуро сидящие на старенько скамейке. Но пустота поглощала их мир, возрастала неотвратимостью, тошнотой. Она тянула к ним руки-плети холодная, жадная. Их уже не спасти. Пенкин, кажется, закричал и потерял сознание.

Учитывая произошедшее вчера, работники музея действовали на диво оперативно. Через двадцать минут после обморока на место происшествия прибыли скорая, пожарная машины, и две машины дополнительного милицейского патруля. Но защищаться было, увы, не от кого. Майор Пенкин поимел госпиталь и болезнь, называемую врачами менингит.

Врачи сказали, что привезли его вовремя. Нервное истощение милицейского организма достигло последних пределов, и шальной вирус, оказавшийся поблизости наизготовку поразил мозг обширно и наповал. Но наша медицина с помощью антибиотика и гемодеза в капельницах внутривенно творит еще большие чудеса. Уже через четверо суток пациент пришел в сознание и самостоятельно сходил на горшок.

Ему выдали стираный больничный халат, грязные тапочки и перевели из реанимации в отделение. Курс лечения предстоял непростой, но опасности жизни уже не нес. Опасались за его мозг, но еще через несколько дней, пациент окончательно пришел в чувство и заговорил с докторами вполне обыденно и правильно.

Верный семейным заветам, Пенкин никому ничего лишнего не рассказывал. А случилось с ним нечто невероятное. Обнаружил майор неожиданно мощное усиление собственных экстрасенсорных способностей. Он научился летать, что было весьма удобно в сложившихся нынче обстоятельствах. Чудо Пенкин творил как всегда легко и с листа, в глубокой тайне от местных недоброжелательных эскулапов.

Майор милиции помнил наставления Дедуни и тайком, тихими безлунными ночами летал в колдовское разнотравье. Напоенная летним теплом обильная зелень предгорий ждала его всего в трех шагах. Просто невероятно, до чего все близко и рядом, когда умеешь летать!

Горы принимали его словно родного. Земля одаривала Колю силой, а ночь покоем и тишиной. Он лечится корешками и цветами тех растений, которых мы к сожалению почти не замечаем, а заметив, уничтожаем безжалостно, называя сорняками и поганками.

Сам госпиталь оказался скромным и привилегированным. Больных в нем насчитывалось намного меньше, чем врачей, личных кабинетов больше, чем

начальников.

В окна одноместных палат склоняли ветви плодовые деревья. Запахи больнички перебивал южный, фруктовый аромат. Дорожки в саду для выздоравливающих, переплетались так тесно, что казались нескончаемыми. Уединенность приглашала к размышлениям на известную криминальную тему. Чем Пенкин и занимался каждый божий день.

То, что это и сглаз, и порча, Коля Пенкин понял сразу. Но если бы история оказалась так тривиальна! Начать с того, что если осмотреться внимательно, время в музейном зале развернулось вспять и тылом, чего в материализме не бывает никак.

В свершившемся факте сомневаться не приходилось. Настоящее ограбление произошло в ночь на воскресенье, а для полного обследования помещения Коля прибыл на место преступления в понедельник в обед. Пока с алкашами разобрались, пока план перехвата объявили...

Но попытки просмотра мыслеследов неожиданно оживили прошлое. Что-то сдвинулось, насторожилось, ожило и приняло жесткие ответные меры. Напружилось и давануло так, что жив остался одним чудом или случайностью. Порчу Коля, принял воскресной ночью. Словно воронкой всосало во вчера. Забавненько получается.

Сам Коля во времени путешествовать не умел. Значит, об этом позаботился кто-то посторонний. Однако если такая сила имеется, зачем же тогда заниматься мелкими музейными кражами? Вот в чем настоящий вопрос... На кой ему ляд, доисторический хитиновый домик для пресмыкающихся? Инкрустация и алмазик в таких вещах не в счет.

Конечно мысли Пенкина – менингитчика продвигались куда более витиевато чем кажется, но кое-какие выводы он сделал окончательно:

Первое – существо не было человеком. Там, под тонкой оболочкой темного балахона, собралось столько холода и мрака, что и думать о совместимости ЭТОГО с человеческой душой вряд ли стоит.

Наивероятнейшим образом орудовал фантом, то бишь в простонародье призрак. Но имелась еще водочка столичная со стаканом и объедками огурца. О призраках в подпитии, Коля до сих пор информации не получал. А что если призраки водочку принялись попивать? Это какая тогда у них энергетика? Тут как есть полная материализация.

Второе – для чего Колю втянули в прошлое? Скорее всего, целях изучения или предупреждения. Но почему тогда, выплюнули обратно, не скомкали окончательно, отпустили – вопрос номер два по-настоящему.

Третье – в той самой нескончаемой череде совпадений. Если присмотреться, то и попытка, и ее неожиданное прикрытие сделаны, словно под копирку с той же самой неумной, недоброй фантазией. Скажите зачем? Но главное как?! Получается, мы марионетки в руках этого идиота, а он передвигает нитками обоими руками попарно в должную сторону, с юмором, принимающим форму изощренного садизма!?

И заключалось в трех фактиках, такая необъяснимая мера силы и ужаса, что казался майор Коля себе маленьким и робким школьником. Почему в принципе, по нашей советской земле иноземные призраки рыскают волком? Вопросы без намека на ответ. Сплошное безобразие.

И стало Пенкину от таких вот выводов, как-то неуютно и скучновато. Пусть лето за окном теплое, ласковое, и по детски беззаботное в привычности и простоте. Лишь пропала уверенность в том, что июль сменится августом, и листья опадут вниз сами, а не тень покроет их мраком беспробудным и потому ужасным.

А вокруг суетилась мирная гражданская мысле-жизнь, переливалась на свету изломами маленьких и не очень маленьких трагедий. Не подозревала она ничего, не ведала даже о возможности нематериальных подвохов. Жила мелко и в основном суетно. Кто-то жаждал электробритву Харьков-М ко дню рождения. Кто-то попробовал азербайджанского коньячку с запахом клопов и думал, как бы теперь перебить сию пикантность русской посольской. Не в меру счастливые юнцы спешили на первое свидание, еще не до конца примирившись с его реальностью.

Тысячи мыслей роились в тот теплый вечер вокруг Коли Пенкина. Он глотал их все до единой, стремясь количеством избавиться от неприличного чувства

одинокства. Но оно не отступало, наоборот придвигалось плотнее, леденя острыми коготками порезы души, пугая безжалостной неизведанностью.

Коля чувствовал, как надорвалась тонкая перегородочка, отделяющая наш теплый и ласковый мир от прочего чуждого и инородного. Будто что-то слепое и темное, грозовой тучей, начиненной холодом и яростью, надвинулось на его будущее, настоящее и даже прошлое.

И пускай сверчки верещали о неге и успокоенности летней ночи, о времени для приема пищи и последующей любви. Пускай сама ночь расслабленно нежилась в зачарованной тишине и уединенности. Страх и напряжение не проходили, не желали отпускать больного и усталого от эдакой несносной жизни милиционера.

Пришла пора просыпаться Сети в очередной раз. И вновь создаваемое представление вертелось вокруг трех актеров театра юного зрителя из дома No 30, и роли оказались расписаны от и до. Но сами актеры не знали о том ничего. Ни хорошего, ни дурного. Но пришла пора.

Город Странников - 1

Мир Раковины необъятен словно сама Вселенная. И никогда уже не понять, является ли она дверьми в иные пространства, или иные измерения лишь продолжение Раковины. Но главное, законы нашей обыденности в ней не прижились. И потому существовало внутри Раковины множество времен, тысячи миров, и необъятное количество надежд, осуществленных сбывшимися мечтами.

Высоко по небу плыли летние облака, а невдалеке, кто-то вовсю раскатывал на звонком льду замерзшего пруда. Здесь каждый был там, где ему нравится. Времена года не оставались чем-то абсолютным, застывшим, а менялись или плодились по одному только желанию.

Мир расправил лепестки многомерности, и поэтому не приходилось толкаться на отполированном пяточке единой реальности.

Кінець ознакомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.com/dragunov_petr/rakovina

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)